

Военное
детство

В. САФОНОВ

ЗЕМЛЯНКА



Военное детство

Валентин Сафонов

Землянка

Издательство «Детская литература»

1982

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Сафонов В. И.

Землянка / В. И. Сафонов — Издательство «Детская литература»,
1982 — (Военное детство)

ISBN 978-5-08-006176-9

Детство первого космонавта Юрия Гагарина пришлось на годы Великой Отечественной войны. Маленький Юра с родителями, сестрой и братьями оказался в оккупации. Один полный день жизни семьи Гагариных описан в этой повести. Он вмещает горе и радость, страх и надежду, жизнь и смерть – и веру в победу над фашистами. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Для среднего школьного возраста.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-08-006176-9

© Сафонов В. И., 1982
© Издательство «Детская
литература», 1982

Содержание

Пролог	7
Утро	8
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Валентин Сафонов

Землянка

Серия «Военное детство»
Серийное оформление О. Рытман

© Сафонов В. И., наследники, 1982
© Бугай В. Ф., рисунки, 1982–2019
© Оформление серии. АО «Издательство «Детская литература», 2019



1941–1945

К 75-летию Победы

в Великой Отечественной войне



...Теперь уже и не вспомнить с достоверностью, до мелочей чтобы... Всякий новый день на вчерашний походил, ничем не радовал, только горя прибавлял. Что запомнила если, утратила – не главное было, не жгло.

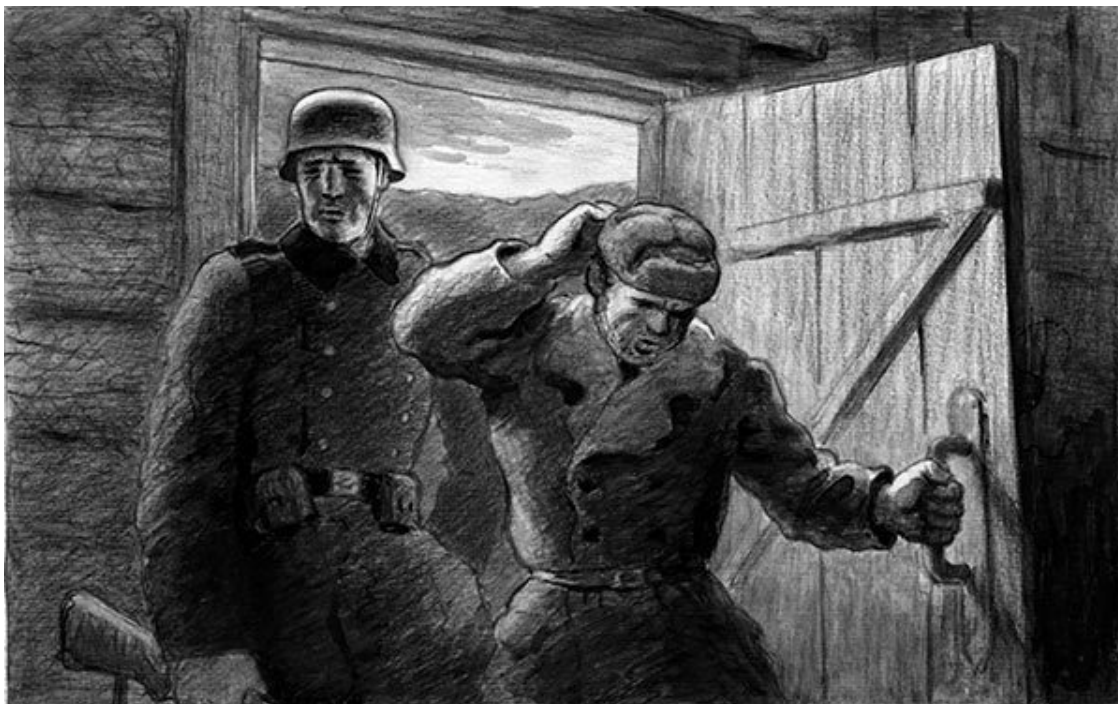
*Главного до конца дней не забудешь...
Из сказанного матерью в беседе*

Пролог

Теперь, если и очень напрягать память, невозможно восстановить в мельчайших подробностях события того дня. Так много лет прошло с тех пор. Но и то правда: все пятьсот пятьдесят дней фашистской оккупации, пережитые селом, были похожи друг на друга. Так походят друг на друга унылые деревянные кресты на забытом погосте или обгорелые печные трубы на пепелищах.

Утро того дня, как и всех других, начиналось в строгом соответствии с нормами *Neue Ordnung* – «нового порядка».

Утро



I

Сперва четыре тени – одна за другой – полосами легли на крохотное оконце, врезанное в покатую крышу землянки. И тут же исчезли. Тени – от ног. Там, наверху, прошли двое.

Затем постучали в дверь.

Мать выгребала из настывшей печки золу. Заслышав стук, отставила совок в сторону, с надеждой шагнула к двери:

– Валентин это! Вернулся.

Ворох заношенных шубеек, затасканных одеял и дерюжных подстилок на деревянных нарах пришел в движение. Отец, сидя, натягивал штаны. Качнул толовой, сомневаясь:

– Не Валька – другой кто-то. Там не один прошел. И колошматят вон как – не по-нашему... Я сам, сам отворю, – крикнул он, и мать подчинилась с неохотой – отступила к холодной печке, прижалась к ней спиной.

Застучали нетерпеливей, яростно. Из поперечины, перетянувшей хлипкую дверь, выскочил гвоздь, со скрипом выгнулась тесина.

– Иду! – поднялся отец и, глуша голос, объяснил: – Прикладом долбят, ироды.

Прихрамывая, заспешил к двери. На ходу тянул руки к вороту, норовя застегнуть рубаху. Пуговица никак не попадала в петлю, вырывалась из пальцев. Отец выругался шепотом и ударом кулака выбил щеколду. Попятился.

Дверь распахнулась настежь. Холод синей волной подкатил к нарам, ожег лежавших на них детей. И тотчас три всклокоченные головы поднялись над семейной постелью, три пары глаз уставились в дверной проем.

Мать ждала у печки – брюхатого камелька, сложенного из серых камней. Поверх холстинной ночной рубахи набросила она первое, что подвернулось под руку на нарах. А подвер-

нулось короткое детское пальтишко. И теперь она силилась запахнуть на груди его полы и не сводила напряженного, немигающего взгляда с входящих в землянку.

Первым переступил порог Тишка Сумятин, староста. Посторонился, давая место немецкому солдату, нехотя стащил с головы треух. Солдат, высокий ростом, со шрамом на переносице и следами ожогов на щеках, прислонился к дверной раме, поставил винтовку перед собой – кованым прикладом на земляной пол, левую руку в карман шинели опустил, правой винтовку за дуло придерживал.

– Дверь прикрой, – сказал ему отец.

Солдат и бровью не повел. Пальцы на его руке были опоясаны перстнями и кольцами, лишь большой и указательный сиротливо белели на черном металле ствола.

«Не успел еще награть, чтобы всю пятерню прикрыть, – подумала мать. И вдруг догадалась: – Да ведь это – чтобы стрелять без промаха, так ему на крючок давить способней».

Сумятин обвел взглядом стены землянки, обшитые горбылем и плашками. Не найдя иконы, покачал головой и водрузил треух на лысину. Кивнул в сторону ребят:

– Вишь, галчата, вылупили зенки, а? Спали б себе, сопели во все дырки. Сон – он чем хорош? Забот мы не ведаем во сне.

– Чего пришли? – спросил отец. На бритой голове его крупно выступили капли пота, губы дрожали.

«Напугался, – решила мать. – Господи, зачем это их спозаранку принесло? Не с добром...»

– За тобой пришли, хозяин. В момент собирайся. Приказано к господину коменданту явиться. А коли приказано...

Сумятин выразительно вздохнул, покосился на солдата, всем видом своим давая понять, что уж он-то в этой истории ни при чем, что есть над ним высшая власть в лице коменданта немецкого гарнизона и что распоряжения этой власти вынужден он исполнять. Рад бы, мол, и дать вам поблажку, пройти мимо, не заметив, да вот и ко мне сторожа с винтовкой приставили, всякий мой шаг стережет.

– Как собираться-то? С вещами? Без вещей?

Голос отца звучал глухо, надтреснуто. Достал отец из кармана замусоленный кисет и сложенный многократно газетный листок, но сигарку крутить не стал – боялся махорку рассыпать. Ненужно вертел кисет в руках.

На плоском лице Сумятина, похожем на обкатанный ветром придорожный булыжник, заиграла обиженная улыбка.

– Да ты что, с пересыпу, что ли? Вишь, чего выдумал: с вещами! На работу хорошую господин комендант определить тебя хотят. И сам сыт будешь, и детишки – галчата эти вот лупоглазые – с голоду не попухнут.

– Какая еще работа? Что за работа?

– А мне, к примеру, сказывать не велено. Там – в комендатуре, значица, – и узнаешь. Там тебе всё расскажут и покажут.

Мать шагнула от печки, встала перед Сумятиным, собой отгородив от него землянку, детей, отца.

– Врешь, староста. Сына вот так забрали – без вещей Валентин ушел, тоже, плели, на день. Трое дён ни слуху ни духу. Где сын?

Сумятин потупил глаза:

– С обозом их проводили, не один твой пошел. И не токмо ребята – девки, к примеру, тоже. Доведут обоз до места – возвратятся.

– Врешь ты все, Тишка, про сына-то. Врешь! И глаза свои бесстыжие не прячь. За отцом вот пришел... Хворый у нас отец, тифом переболел. Не оправился еще, не окреп. Куда ему работать? А может, ты и его в дорогу какую, снарядить придумал? А, Тишка?

– Был Тишка да весь вышел. Господин Сумятин я, – с улыбочкой напомнил староста. И не поймешь: то ли шутит, то ли всерьез за непочтение к себе осерчал.

– А мне не легче оттого, кто соврет: Тишка Сумятин или господин Сумятин.

– Ладно, не с тобой разговор.

Староста протянул к ней руку, желая отодвинуть в сторону, в лицо увидеть отца. Мать брезгливо отступила на шаг.

– Не пущу, – сказала она. – Всей семьей пойдем к коменданту. Хворый отец, больной.

– Ладно... – Отец набросил на плечи телогрейку. – Ладно, мать, авось...

– Не пущу одного, все вместе... Собирайтесь, ребята, чего смотрите?!

И тотчас как ветром сдуло ребят с нар: двое мальчишек и девочка-подросток с криком вцепились в отца, цеплялись за рукава, за полы телогрейки, за штанины.

Солдат подался вперед, устался на девочку. Бретелька ночной сорочки соскользнула с ее хрупкого плеча, голубая лента, вплетенная в светлую косу, металась между незащищенных лопаток.

Была девочка старше братьев, в свои четырнадцать лет сложена крепко и надежно, только вот очень худа и бледна.

– Зойка! – прикрикнула мать, запахивая пальтишко на груди.

И девочка поняла ее, разомкнула руки на шее отца, метнулась на нары, под одеяло.

– Цыц вы все! – расвирепел отец, униженный плачем детей. – Рано отпеваеете.

Он стряхнул с себя мальчишек, хромая, шагнул к порогу. Обернулся:

– Хватит причитать, авось обойдется. Бог не выдаст – свинья не съест. А слезой их не прошибешь, им жалость неведома. Вишь, холоду напустили сколько – всё жилье выстудили... Ты, мать, того... детей береги. Обросли вон как, облохматели. Ужо вечером обкорнаю им лохмы-то...

Пропустил перед собой старосту, остановился, дожидаясь, когда выйдет солдат. А тот вдруг подошел к матери, схватил ее за кисть правой руки и рывком поднял руку вверх, к своим глубоко посаженным глазам. Тускло блеснуло на пальце узенькое серебряное кольцо – обручальное, стертые за двадцать лет ношения.



– Шлехт, – с неудовлетворением изрек солдат. – Зер шлехт.

И отпустил руку матери: не понравилось ему кольцо.

Пригнул голову, боясь удариться о дверной косяк, убрался за порог. За ним, не оглядываясь, и отец ушел.

«Господи боже мой! Что же это на белом свете делается? – затосковала мать. – Незваные, приходят в наш дом чужие люди, распоряжаются как хотят, грозят оружием...»

«Лишь бы отец сдержался – не вспылит там, в комендатуре, – жгла беспокойная мысль. Вспомнилось некстати, как – давненько, в парнях еще – хаживал он на кулачки, с самыми заядлыми драчунами отчаянно бился. Из-за нее. – Порох ведь! Взорвется, пойдет поперек – не сносить ему головы...»

Мальчишки, тощие оба, голые по пояс, стояли босиком на земляном полу, дрожали, пере-збнув.

– Хватит кукситься, – рассердилась мать, потирая запястье. – Вражина треклятая, как клещами ухватил... Одевайтесь. Живо, не то простуды наберетесь. Вон, мурашки-то по коже... И бегите за соломой. Печку затапливать будем, завтрак готовить.

Она подошла к оконцу, припала к стеклу. Малозаметные тени полосками легли на ее лицо. Тени – от ног. Три человека прошли мимо землянки. Уходят чужие люди, уводят отца.

Тихо выскользнули за дверь мальчишки. Приносить солому на растопку было их каждо-дневной обязанностью. Послаблений мать не делала: чтобы выжить в лютой стуже, при посто-янном голоде, надо двигаться.

II

От печки мать отошла, вытирая слезы на глазах. Солома, принесенная ребятами со двора, смерзлась, гремела спекшимися на ней льдышками, и они, льдышки, упорно не хотели таять в выстуженной печке. Долго не разгоралась солома, измучилась с нею мать, а потом вдруг выстрелил камелек сизым дымным клубом. Дым вышиб из глаз слезы и забил – от пола до крыши – всю землянку.

Снова нужно отворять дверь на улицу. Но уже горел-потрескивал в каменной печке жар-кий огонек, суля тепло и скорый завтрак.

Столбик белесого дыма над жестяной трубой привел в землянку Анну Григорьевну, даль-нюю родственницу отца, по-семейному – бабу Ньюшу. Тихо стала она в дверях, перекрестилась и, пока незрячие с уличного света глаза привыкали к сумраку, не решалась сделать шага вперед.

«Как всегда, к завтраку», – с досадой подумала мать, прикидывая, что от горячей ско-вородной пышки придется отрывать совсем не лишний кусок. От ребят отрывать... И тут же устыдилась своей нечаянной жадности, пригласила:

– Проходи, сватья, садись. В ногах, говорят, правды нет.

– Спасибо на добром слове, девка. Сяду я, к теплу поближе сяду. Весна на дворе, а намерзлась за ночь – душа заледенела.

Бабе Ньюше, выселенной из своей избы немецкими солдатами, не под силу было постро-ить землянку. Спасалась она в старой картофельной яме. Осенью, до холодов еще, сколотил отец над ямой ящик из бросовых досок, промазал его глиной, засыпал опавшей листвой и землей. Печку в таком жилище не поставишь, костерок запалить никакой возможности нет. Натаскала баба Ньюша в звериную свою нору тряпья да соломы, слепила кое-какое гнездо, а как от лютых холодов сбереглась, как стылую зиму пережила – одной ей ведомо. Не раз и не два звала ее мать переселиться в землянку, но Анна Григорьевна упрямо отказывалась. «Вам самим-то прожить под силу ли, а куда ж еще лишний рот? – приводила она свои доводы. – Вот как станет такое, что не приду к вам утречком, не проведаю, так знайте: замерзла я аль померла... Отмаялась... Хороните с легким сердцем: без надобности я и Богу, и людям. В этой яме и хороните».

Волоком подтащив табурет к печке, баба Ньюша пристроила на нем свое небольшое, исху-далое тело, уткнула острые колени в горячие серые камни. Розовые отсветы пламени из-за плохо прикрытой дверцы падали на ее желтый, пергаментный лик, на заостренный нос, и похо-дила старуха на вылепленную из глины, никому не нужную птицу-игрушку.

В прежние-то времена, до войны еще, до того, как немцам в село прийти, не переступала баба Ньюша порога их избы без гостинцев для ребят. То пестрые конфеты, похожие на поду-шечки, принесет в узелке, то яйца, в луковой шелухе варенные и оттого коричневые, а то и просто по огурцу на брата. Пупырчатые, нежные, с грядки в своем огороде сорванные... Еще запомнились ребятам помидоры – сочные, с розовой мякотью, и тугая редиска. Мальчишки

всегда шумно радовались приходу бабы Ньюши, спрашивали: «Ты чего нам принесла?», сучали, если долго не заглядывала.

А сейчас они лежали на нарах, одетые в домашней вязки шерстяные свитерки и штаны из «чертовой кожи», поверх тряпья лежали, вплотную к печке. Грели босые ноги. Молчали. Да и чего шуметь-то? Баба Ньюша теперь по многу раз на дню заходит, а все без толку – пустая все, без гостинцев. И в такой час попасть норовит, когда они за стол садятся... Только Зоя, не выдержав ожидания, шуршала в своем темном углу. Одевалась, причесывалась.

Забулькал на камельке чайник. Горьковато и вкусно пахнуло от сковородки.

– Ну вот, придвигайтесь все к столу, будем завтракать, – пригласила мать, переворачивая пышку на сковороде.

Упрашивать мальчишек не надо было – мигом скатились с нар, уселись вокруг стола.

Баба Ньюша попросила:

– Ты уж, девка, сделай милость, сюда мне подай. Не обессудь. Заледенела я – никак не отойду. И где, удивительно, муку ты сберегла? Пирогом вот хочешь побаловать...

– Какой там пирог, какая мука! – отмахнулась мать. – Отруби на четверть, на три – картошка мерзлая, толченая. Ребята вон вчера на огороде собирали, подтаяло где...

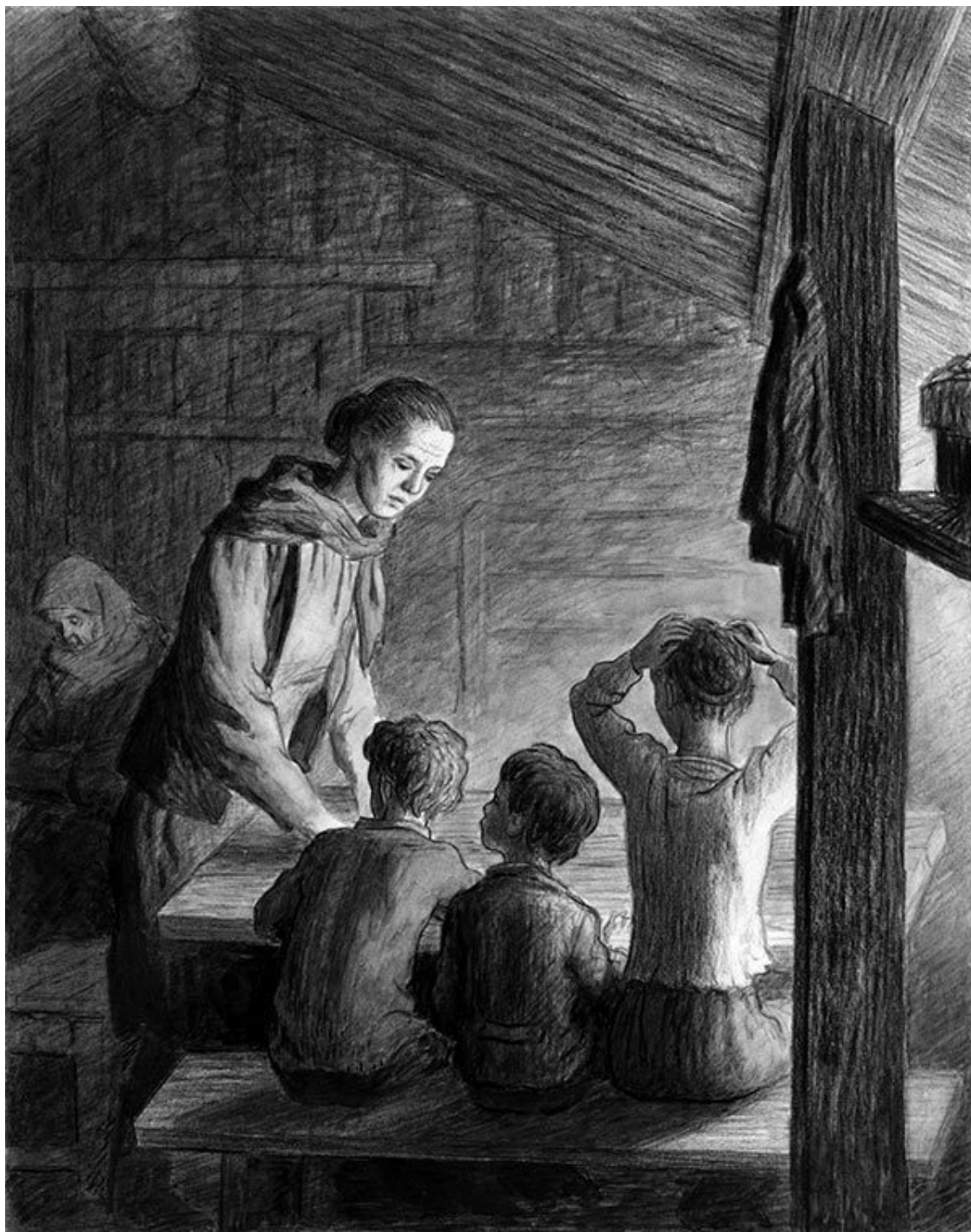
Зоя подошла к столу медленно, не желая словно бы, села рядом с братьями. Коса вокруг головы венцом уложена, а мальчишки – по плечо Зое. В повадках ее, в поведении так заметно обозначался переход от девчоночьей угловатости к близкой взрослости, к плавности и неторопливости в движениях, что каждый день прибавлялось у матери тревог.

«Скоро заневестится, – переживала она. – Некстати... Лучше б уж дурнушкой росла, лучше б уж совсем неприметной, чтоб в глаза не бросаться...»

Так нет, наперекор войне, материнским тревогам вопреки, из невзрачного совсем недавно, диковатого существа с мальчишечьими повадками становилась дочь красавицей. «Гляди-ка, – заметил вчера отец. – Зойка тебя повторяет. Точь-в-точь такая, как ты в девках была... Будет ребятам присуха». – «Чему радуешься? – возразила мать. – Не те времена нынче, чтобы красоте радоваться. Женихи-то – где они? Которые в армии сражаются, может, и головы уже сложили, которых – того хуже – в Германию угнали, в неволю. Одни гадюки зеленые вокруг...» А сейчас подумала, что вот собирается отец вечером остричь мальчишек – надо и Зойку заставить косу обрезать. Хоть и жаль, зато красоты поубавится.

Обжигая пальцы, мать ломала пышку на шесть кусков. На ребят не смотрела – и без того знала, что все прикованно вцепились взглядами в каждое ее движение и будут ревниво следить до тех пор, пока всяк свой кусок не получит в руки. Старалась, чтобы поровну выходило, без обиды.

Разлила по жестяным консервным банкам горячий кипяток, заваренный сухим липовым цветом.



Ели угрюмо, сосредоточенно, и было какое-то странное несоответствие между постоянным чувством голода, которое носили они в себе много дней подряд, и этой замедленной сосредоточенностью.

– Борька, – подстегнула мать самого младшего, – ты чего так долго жуешь? Зубы болят?

– А если я раньше Юрки съем? Тогда что – в рот ему смотреть?

Мать вздохнула.

Кусок пышки – доля отца, его завтрак – нетронутым остывал на столе.

– Ой! – вскрикнула Зоя.

– Ты чего?

– Юрка щиплется.

– Вдарь по рукам.

Юрка смиренно опустил глаза к столу, только мочки оттопыренных ушей порозовели.

– Я нечаянно...

– Сыт, вот и воюешь, – рассудила мать. – Поели, братцы? Ну-ка, марш на улицу оба! Да от дома далеко не отходите. И этому... Альберту... черту безроговому... на глаза не лезьте.

– Юра, внучок, – позвала баба Ньюша, – я вам тут принесла чего-то.

Она долго рылась в многочисленных складках своей юбки, приговаривала, что вот, мол, запропастилась безделица и памяти уже нет – вспомнить, куда второпях положила ее, зажила бабка память. А ведь было ж время – Псалтырь от доски до доски помнила. Ребята стояли перед ней на цыпочках, выжидательно тянули шеи.

– Ура! Стекло! Зажигательное! – закричал Юра, схватив наконец с бабкиной ладони выпуклую линзу.

Борька немедленно обиделся:

– А мне? Всё ему и ему, а мне?

– Обоим, внучок, обоим. Возле ямы своей нашла.

Юрка уже не слышал ее – стремглав выскочил за дверь. И Борис, делая нечего, побежал следом.

Зоя тоже вышла из-за стола.

– Я к Беловым сбегая, может, чего новенького узнаю.

Мать открыла дверь, поднялась по ступенькам наверх, огляделась. За калиткой было тихо, безлюдно. В их избе патефон с хрипом орал гортанную песню – Альберт с утра веселился. Через дорогу, у Беловых, курился дымок над землянкой.

– Ступай, дочка, – разрешила мать, закрывая за собой дверь. – Только ненадолго, не задерживайся.

– Приду – не пропаду. – Зоя на прощанье чмокнула ее в щеку.

Теперь они остались в землянке вдвоем: мать и баба Ньюша. Старуха поднялась с табурета, шаркая подошвами разбитых валенок, подошла к столу. Подслеповато уставилась на тощий – он уже парком изошел, опал – кусок пышки.

– Чего я, девка, вспомнила вдруг... Отец-то где же? Неужто сыт, к столу не явился?

Мать взяла кусок со стола, заворачивая его в полотенце, повернулась к бабе Ньюше спиной.

– К коменданту его позвали. Тишка Сумятин приходил да еще солдат ихний с ним. Позавтракать не успел.

– А-а-а, вона, – протянула старуха.

Долгие годы прожитой на земле жизни сделали ее равнодушной к чужим горестям.

– Вот еще, – припомнила она ненароком, – болтают на селе... Слыхала небось? На обоз немецкий партизаны за Пречистым напали. Многих немцев поклали. И наших, которые за ездových были, тоже.

Полотенце с пышкой выпало из рук матери, мягко шлепнулось на пол.

– А Валентин? С Валентином-то чего? Знаешь? Не томи – говори сразу.

– Многих, болтают, поклали... Пойду я, девка. За хлеб-соль благодарение тебе.

Баба Ньюша потопталась на пороге, привычно ожидая приглашения к обеду.

Мать отрешенно сидела на табуретке, не видя ее. Старушка задумчиво посмотрела на сверток на полу, но поднимать не стала. Уходя, негромко вздохнула:

– Сомлела девка. А может, он и жив, Валентин-то. Всяко ведь языками мелют, кому что на ум падет... Не слышит! Дверь-то, поди, не надо затворять, пусть ветерком продует.

III

Холод гонял мурашки по ногам.

А землянку мягко наполняла дивная, небывалая музыка. Откуда-то издалека приходила она, полузабытая, нездешняя. Живой разговор весенних ручьев можно было разобрать в ней, легкий звон бубенцов, с которыми по вечерам возвращалось в село стадо, сочную тишину близкой ночи.

Да еще сквозь музыку ходики выговаривали замедленно: туп-туп, туп-туп...

Мать удивилась тому, что так отчетливо слышит их перестук. Ведь в избе они остались, те ходики, и давным-давно отсчитывают время не для них – для Альберта. Рыжий Альберт занял дом под жильё для себя, под мастерскую: хозяевам и на порог вход заказан. А вот поди ж ты – стучат себе ходики, и слышит их она: туп-туп, туп-туп...

Только больно медленно стучат, будто каждая минута в час растянулась.

А ногам холодно – спасу нет.

– Отец, – позвала, – дверь притвори. Расхлебенили дверь-то.

Отец не откликнулся. Молчун – он и есть молчун. За всю жизнь трех слов не связал, а с тех пор, как немцы в село пришли, и вовсе рот на замок. Не откликнулся отец, но дверью, слышалось, хлопнул сердито.

Теплее не стало: холод, путаясь в складках платья, все гонял мурашки по ногам, пробирал до костей.

– Отец, – позвала она снова и, не услышав ответа, с трудом раскрыла глаза.

Тотчас, одно за другим, стали на место, обрели реальность все события сегодняшнего утра.

Отец не откликался, потому что нет его в землянке. Пришел на рассвете староста Тишка Сумятин и увел отца в комендатуру.

Музыка – она от Альберта. Патефон крутит. Альберт чаще другие пластинки ставит – они грохочут так, словно кто-то бочку железную по бульжнику перекатывает или в кованных сапогах по крыше бежит. Но если такую вот завел, грустную и красивую, – значит, запсиховал немец, по дому тоскует. И уж теперь лучше поостеречься, не попадаться ему на глаза, не то быть беде...

Ветер в щель между косяком и дверью замахивает. Баба Ньюша уходила и, по немощи своей, не прикрыла дверь плотно.

Неясно только, как ходики она расслышала. Далеко ведь они, ходики-то. А стучали, стучали: туп-туп, туп-туп...

Мать поднялась с табурета, чтобы кликнуть ребят и дверь прикрыть, сделала шаг и – снова на табурет вернулась. Ноги не удержали ее, страшной болью захватило сердце.

«Так вот оно что, – поняла мать. – Причудились ходики... Сердце свое я слышала».

Поняла и перепугалась. Не боли, другого: хватит ли у ее сердца силы ненастье пережить, дожидаться, когда немчуру из села прогонят? Приключись с ней что – вся семья потеряется...

Во второй раз на нее злая напасть обрушилась. Первый приступ случился семь месяцев назад, в тот день, когда Альберт освобождал для себя их избу. Проще говоря, выгонял их на улицу... Тогда она укладывала в узел простыни да полотенца – все то, что на скорую руку прихватить можно. Отец, Валентин и Зоя были во дворе – вымеряли место под землянку. А Юрка с Борькой, дожидаясь ее, затеяли возню в сених.

Укладывала она узел, прислушивалась к ребячьим голосам за дверью, а рыжий плечистый Альберт вокруг да около ходил, как – прости, Господи! – пес, на цепи привязанный. Юрке, видать, любопытно было на немца поглазеть, время от времени отворял он дверь, просовывал в избу свой вздернутый носишко. Мать шикала на него. Альберт незлобиво усмехался, а

сам следил за ней. Протянула руку за подушкой – вырвал подушку, снова на постель швырнул. Поняла: сам на подушке спать желает. Пуховая подушка, мягкая, в девичестве еще приданое собирала... Хотела в замешательстве ходики со стены снять. Древние ходики, от матушки покойной остались. Зеленый попугай на циферблате от старости почернел, рядом с гирькой для точности хода глиняная свистулька подвешена – когда-то мальчишки у тряпичника выменяли. Зачем немцу такая рухлядь? Ан нет, пальцем Альберт погрозил: не смей, мол.

Тут Юрка снова дверь открыл:

– Ма, Борька на двор просится.

– Сведи, – сказала тихо.

Альберту, должно, прискучило сторожить бабу. Вышел в сени. И только вышел – резануло тишину вскриком ребячьим, и тут же оборвался вскрик, и хлопнуло два раза – гулко и раскатисто. Выскочила она в сени – в спину Альберту уткнулась: ноги расставил, пистолет в руке держит. А ребята прилипли к стене, ни живы ни мертвы оба, обомлели, и над русыми головами ихними – две аккуратные дырочки в шершавой доске. Пыльные солнечные лучики сквозь них пробиваются.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.